

все это происходит, и никто не знает, как ему поступить. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительств, а этого нельзя. нас о самом важном нельзя говорить». «Он, — заключает Суворин, — долго говорил на эту тему и говорил душевно. Тут же сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером»<sup>7</sup>.

Это поистине сенсационное сообщение на первый взгляд представляется не только совершенно неожиданным, но и прямо-таки фантастическим. Как? Достоевский, автор сравнительно недавно написанных «Бесов», собирается сделать своего, безусловно горячо и нежно любимого им героя, второго, казалась бы, после князя Мышкина, образа «положительно-прекрасного» человека, активным участником революционного движения? Разве это не парадоксально? Видимо, именно этой парадоксальностью объясняется то, что, хотя данное сообщение цитируется и упоминается едва ли не всеми комментаторами и исследователями «Братьев Карамазовых», оно оставляется, как правило, без какого-либо принимающего или оспаривающего, отношения к нему. Только Л. П. Гроссман в последней из многочисленных своих работ о Достоевском — биографии писателя — безоговорочно его принимает. Однако, поскольку и им не делается никакой попытки разобраться в естественно возникающих в связи с этим недоуменных вопросах, которые по существу им даже и не ставятся, декларируемое исследователем — по Суворину — изложение судьбы Алеши не имеет необходимой доказательной силы. Подобно всем остальным, он не сделал даже самого первого, и в данном случае, казалось бы, особенно необходимого, шага — критически не подошел к взятому им на вооружение мемуарному отрывку. Начать с того, что приводимые цитаты из этого отрывка, делались им, как и всеми, по печатной публикации «Дневника», хотя уже одно весьма странно звучащее в ней место — слова Достоевского: «Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства», — казалось бы, должно было насторожить и побудить обратиться к архивному первоисточнику. А насколько это было вообще необходимо сделать, показало проведенное несколько позднее Н. А. Роскиной текстологическое сопоставление того и другого, наглядно показавшее, что публикация 1923 г. не соответствует элементарным научным требованиям, изобилуя таким количеством неточностей и ошибок, которые не дают возможности сколько-нибудь на нее полагаться. В частности, и в только что цитированных словах Достоевского она установила неверное прочтение, совершенно искажающее их смысл (вместо «много хорошего и скверного», Сувориным на самом деле написано «и полезного»)<sup>8</sup>.

Никем не был поставлен и такой, невольно возникающий вопрос: почему же о том чрезвычайно значительном и интересном, о чем сообщает Суворин, ни словом не обмолвилась в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская, казалось бы, больше, чем кто-либо другой, осведомленная о «плане» второго романа? Выходит, что эта осведомленность была не так уж велика? А, может быть, сыграло свою роль особое психологическое состояние Достоевского в момент встречи с Сувориным (только что вышел из эпилептического припадка, был крайне взволнован внутривнутриполитическими событиями последнего времени), которое толкнуло его сказать своему собеседнику то, о чем не говорил никому другому? Не исключено и иное объяснение: Достоевская знала о трагической судьбе Алеши, намечавшейся писателем, но в силу особой остроты данной темы или по каким-то другим соображениям не сочла возможным сообщать об этом (ее воззрения

<sup>7</sup> «Дневник А. С. Суворина». М.—П., Изд-во Л. Д. Френкель, 1923, стр. 15—16.

<sup>8</sup> Роскина Н. Об одной старой публикации.— Вопросы литературы, 1968, № 6, стр. 250—253.